

ВИКТОР БАКИН



ДАЛЁКОЕ... СВЯТОЕ...

РАССКАЗ

Солнце уронило на крыльцо тёплые ладошки.

Мальчику было хорошо.

Загорелый до черноты, в одном коротких трусиках, он сидел на округлом порожке входной двери в сени, ощущая загрубевшими ступнями приятную нагретость старых досок крыльца, жмурился от утренних солнечных лучей, вздёргом руки отгонял надоедливых мух и кусачих паутов и осторожно ковырял на сбитой коленке серую коросту, освобождая из-под неё розовый язычок нарождающейся кожи.

Недалеко от мальчика на серёдке улицы, по которой недавно прогнали на поскотину деревенское стадо, любопытные шнырялы-курицы поднимали ни с того ни с сего куриный переполох.

Ему пора было идти завтракать. Большая кружка парного молока и солидный ломоть рассычатого белого хлеба величиной в две взрослые ладони, выпеченного спозарань в поселковой пекарне, земляничное варенье в глубокой стеклянной вазочке с невесомой чайной ложкой на плаву — всё это ожидало мальчика в прохладной избе, по-хозяйски накрытое стареньким, местами протёртым до дыр полотенцем. А если этого пропитания мало, сунься привычно в печь, где непременно отыщешь на широкой сковороднице жареную картошку с луком, ещё тёплую.

БАКИН Виктор Семёнович родился в 1957 году в городе Мураши Кировской области. Окончил Кировский политехнический институт. В 1980–1982 годах служил в армии. Автор пяти книг прозы, вышедших в Кирове, Москве и Екатеринбурге. Творческая деятельность В. С. Бакина отмечена благодарностью министра культуры РФ, медалью Союза ветеранов войны в Афганистане “За заслуги”, Почётными грамотами Союза писателей и Союза журналистов России. Живёт в Кирове.

Да, пора было подниматься с порожка и шагать в избу, но солнышко так приятно нежило мальчика и игриво слепило его глаза, что он всё сидел и сидел на золотом от яркого света крыльце, пугая взмахом руки неугомонных несущек.

Воля вольная на четыре стороны, чистое утро, деревенская улица, избы, сарайки, сеновалы, огородные прясла, молодой кудрявый березник за околицей, одинокая горбатая сосна на тропинке к реке — вся широкая округа залита солнечным светом, потому и на душе у мальчика сладостно, покойно, безмятежно. Хотя нет — что-то в близкой памяти всё же подзванивало тревожным колокольцем.

Мальчик сделал усилие, чтобы вспомнить день вчерашний.

— ...Бабушка моет меня в бане и всё приговаривает: “Личико шанежкой, глазки горошиком... Личико шанежкой, глазки горошиком...” Вот шанежкой и выросло... Наша мама — красавица писаная, а мы с сестрой прямо незнамо в кого такие небаские уродились. Поди-ка теперь — спознай-угадай...

Чей это рассказ, про кого? Ах да, это же бабушка о своей бабушке воспоминание вела, когда вчера у крыльца на лавочке с соседкой завечерили. Дверь в дом распахнута настежь, мальчик в сенях за высоким марлевым пологом никак заснуть не мог, слушая комариный писк, — всё ворочался, подушку комкал да дощатой лежанкой скрипел, вот и подделушал неволью старушечью случайную посиделку. Они уж и посмеялись там, и поплакали даже за своими скорбными откровениями.

— ...Отца у нас не было. А у соседей, у наших подружек, отец поедет на базар в Шурму — очень уж хороший базар был в Шурме — и своим дочерям везёт с него подарки. Всякие-разные. И вот они вылетают на улицу, и хвалятся: “Мне тятка вон что привёз! Мне тятка вон что привёз!...” Показывают, хвастают взахлёб на нашу зависть. А мне тоже хотца гостинец. И я бегу в их дом и кричу сквозь слёзы: “А мне бы тятка тоже привёз гостинец. Тоже, тоже...” Однажды Екатерина Тимофеевна, соседка наша добрая, вынесла мне три сушки. Кругленькие, хрустящие. Я их взяла в руку и несу, как малый букетик. Рада-радехонька. И всем встречным заявляю: “А мне тятка вот что с базара привёз. А мне тятка вот что с базара привёз...” Тоже ведь хотелось любви и отцовской заботы. А как же...

Бабушка вздохнула тяжко, потеряла вечный передник, помолчала минуту-другую:

— ...Мама, конечно, настрадалась с нами. Маму Марфой Ивановной звали... Настрадалась она с нами, миленькая труженица. Великая мученица. Великомученица, можно прямо сказать... Уходила она на работу рано утром — мы ещё спали. Просыпались — крынка с молоком на столе, и хлебушек кусочком, и картошка в мундире. И мы с сестрой ели самостоятельно... А потом вперёд — тоже за работу. Да-да... Была у нас свинья. Хрюшаня. И мы обязаны были эту свинью пасти. Свинья большая, жирная, ленивая, а мы махонькие, шесть и семь годков нам с сестрой всего набежало... И вот выгоним эту свинью со двора и пасём, как могём... Помню, очень боялись грозы. А тут нашла такая гроза страшная! Ливень, ветер сучья ломит, а у нас свинья никак домой не идёт. Мы её гоним-стягаем, а она в луже валяется. Похрюкивает ещё с удовольствия. Потом треск, словно дерево какое в аккурат пополам распластало... А за деревней тогда было гумно. И вот загорелось это гумно. Потом второй треск, шум, тарарам — на мельнице девятилетнего парня убило. Молнией прямо попало... Гумно горит, мельница тоже занялась, а в деревне никого, все на работе в поле. Одни старики на полатах. Да мы с сестрой — сопли-свинопасы... Кое-как загнали всё ж тогда упрямую скотину во двор. Она в навозе шоркается, и мы лежим тут же, в подворотне, слезами исходим. Описались даже. Страшно как было — не передать...

Мальчику на своей немилой лежанке тоже вдруг сделалось страшно. Он ещё потомился пару минут с закрытыми глазами, чутко вслушиваясь в окружающую тишину, словно ожидал раската грома, потом сбил в ноги одеяло, резко откинул полог и быстро юркнул на крыльцо — бабушке под защитный бочок. Та совсем не удивилась явлению внука — шершавой ладонью провела по его вихрастому чубу и вернулась к прерванному рассказу:

— Мама работала в колхозе, жилось нам тяжело. Потому она договорилась с фермой, чтобы мы с сестрой пастушили теперь и колхозных свиней. Два часа до обеда и два часа опосля. Тринадцать свиноматок по списку, поросяток не счесть, да ещё и подростки... Выводили их на прогулку далеко в поле, за два километра. Там грязи полно, они в ней и купались в охотку. Не выгонишь силком... И война когда стряслась, мы тоже пастушили, около кладбища. Глядим — на лошадке верхом парень бойко скачет. Николай Макарыч. Он пацан ещё, но его пошто-то с детства все звали только так: Николай Макарыч... Вот едет и кричит: “Нинка, Лидка, бросайте всё! Война приключилась...” Ой, мы так сразу и спужались. Давай гнать домой своих поросяточек. А они не идут. Ни в какую! Не догуляли своё, потому не вылезят из грязи. Мы уж сами все расхристанные, в глине по уши, не отличишь от свиньи. Кое-как всё-таки справились, загнали на место и... На площади около церкви уже народищу! Тьма. Там трибуна дощатая. И кто ревет, кто храбрится... А мы возрастом салажата, вон как Стёпка. Что с нас взять? Глупыши неразумные...

Бабушка вновь погладила мальчика по головке.

— Что не спишь-то, внучок? — спросила ласково.

— Не хоча... — коротко ответил мальчик.

— Ну ладно, коли так. Посиди маленько...

Сидели молча, наблюдая, как медленной синевой истекает на горизонте уходящий день.

— Экошь как, значит, — подала голос Митрониха, бабушкина верная напарница и подружница. Она уж, верно, сколько раз этот рассказ слышала, а всё дивится, как новости:

— А мне всё больше помнится, как мамке нашей мы хотели подсобить. Да всё враскоряку, всё в убыток выпадало... Раз за хороший труд, за ударную работу выделили ей наградную пачку мыла. Печатка такая хозяйственная, большая... И мы, жалеючи маму, решили с сестрой помочь. Моя инициатива: “Давай постираем бельё. Мама придёт и нас похвалит...” Собрали всё, что можно и не можно, унесли на речку. Там всю печатку и измылили... Мама приходит вечером с поля. И мы ей дружным хором: “Мама, мама, а мы тебе помогли! — Что-что? — А мы всё бельё перестирали. Всю одёжку... — Да? А чем же вы стирали? — А мылом. — А где мыло? — А мы измылили... — Да этим мылом только белые платочки потребно стирать...” Так-то в деревне все стирали золой. Зольной водой. А тут мы, помощнички... Она даже поплакала. А мы думали, она нас похвалит...

Митрониха перевела дыхание и тут же продолжила:

— Или вот ещё. Зима. И опять мы стараемся маме подсобить. Дров наносим к печке. Большая печка была и ещё вдобавок железная печка. С трубами. И туда, и туда наносим... А электричества не было — лампа только. Да и лампа-то пятилинейная, маленькая, тусклая. А если и керосина нет, так копилка тогда... И вот закопилось стекло пятилинейной лампы. Я сестре говорю: “Давай вычистим. Маме сделаем подарок...” Она противится: “Сломаешь. — Нет, не сломаю. — Ты плохо вычистишь. — Нет, я хорошо вычищу”. И я вычистила на крыльце снегом это стекло. Чисто-чисто стало... Топая обратно в избу и, чтобы не сразу показать сестре, какое оно чистое, прячу стекло за спиной. Прохожу у печки, а трубка за угол — дзынь! И сломалась... Господи, горя-то сколько было. Сколько плача. Слёз-то сколько было пролито. Стекла-то ведь такого негде было купить. Вот ведь проблема какая стала... Как отревелись, залезли на полати, под тулупом угомонились. Мама приходит ночью, уже темно. Но сестра выставилась тут же и заявляет с ябедой: “Мама, копилку зажигай. Танька стекло поломала, лампу нельзя трогать...” Мама зажгла копилочку, устряналась скоро со скотиной. И лишь тогда спросила: “Зачем вы это сделали? Я вот вас сейчас накажу, ту и другую без разборки, будете знать”. Взяла сучилку — батожок тоненький. И раз-раз. Поколотила маленько. Не по нам, по тулупу...

Прильнув к тёплому бабушкиному боку, мальчик уж было начал подрёмывать, посапывая и клоня голову на грудь. Но услышав, как кого-то где-то поколотили, выхватив это слово из чужого рассказа, тут же широко распахнул глаза, поёжился, передёрнув плечами.

— Спать-то не пора ли тебе, милоч? — вновь спросила бабушка.

— Не пора, — капризно ответил мальчик, понимая, что обманывает и себя, и взрослых. А потому минуту спустя уже без лишних уговоров поднялся с места и поплёлся в сени на кровать.

— Спокойной ночи! — кинула ему вслед бабушка привычное пожелание и вернулась к разговору с соседкой:

— А война грянула — страшно как. Стали забирать на фронт мужиков. И девушек несколько забрали. Плача было скоко... Вон Настя Кораниха жила. У неё муж русский, Алексей по имени, но почему-то он всё время читал Коран. И прозвище ему дали соответственное — Коран. А она, следовательно, Кораниха... Он перед самой войной умер, этот Алексей Коран, и она осталась вдовой. У неё было пятеро сыновей и одна дочка последняя. И вот все эти парни, друг за дружкой, оказались в армии. Кто во флоте, кто чего. И бедная Настя сначала одну похоронную получила. Следом вторую, третью, четвёртую... Когда последнюю похоронку принесли в сельский совет — на пятого, тогда уж и не знали, как это Насте сообщить. И так вся никакая, от горя чёрная, как головешка, а тут ещё добавка. Но сообщать всё одно надо, как иначе... А парни-то были какие красивые! Высокие, кудрявые. Сероглазые, чернобровые, румяные. Статные такие. Я всех их очень помню, хотя и малювка была... И вот пришла похоронная на пятого. Секретарка сельсовета, молодая баба Паня, жалобится: “Не знаю, как вручать...” А мама моя была утешительницей. И ещё Катя Кондрашиха. Тоже утешительница. Только мама словами могла утешать, а Катя всё лаской да нежным поглаживанием... В итоге они пошли втроём. Секретарь и две утешительницы. А дело было вечером, после работы. Увидала их Настя и сразу остамела вся. “Чё, — говорит, — случилось?” Ещё вопрос не успела задать, а уже поняла сердцем, что к ней сельсоветских привело, какая тяжкая забота... Упала тут же, как подкосили её, окаменела вся. И трое суток, считай, от неё не отходили мама и эта Катя Кондрашиха. Одна до обеда сидела дежуркой, другая после обеда. Одна до полуночи, другая с полуночи. А Кораниха всё лежала недвижно, словно и вправду насовсем померла... Фельдшера не нашли, медика не было. Ничего сделать с бабой не могли. Уж и ноги-то ей мочили колодезной водой, и голову тормозили, и по щекам её хвостали, и по рукам-то её били до чёрных синяков. Всё делали, чтобы только привести в чувство. А она лежит трупом, глазами, правда, смотрит, но никаких потуг к жизни не подаёт. Потом уж только, на третий, кажись, день, к вечеру отошла. Головой качнула, рукой шевельнула. Жива! И как тогда плакала, как завывала! Как зверь дикий прям, точь-в-точь. И утешительницы тут же с ней подголоском — воют и воют, и слёзы по щекам размазывают...

Бабушка махнула согнутыми пальцами по глазам, словно случайную слезу тоже старалась скрыть:

— А в сорок четвёртом году и у нас мама серьёзно захворала. Перед тем у её родного брата, пропавшего без вести, жена померла — четверо детей от них остались. Повесились они тогда на нашу маму, плачут, жалостят: “Крёстная, не сдавай нас в детдом. Крёстная, не сдавай...” Так и стало нас общей оравой шестеро и мама одна. А потом она заболела... А почему занедужила-то? Кормить нас надо, а кормить нечем. И она пошла с подружкой по ранней весне на озеро рыбу ловить. За пять километров... Сетей нет, морды какие-то плетёные ставили. Чтобы принести рыбу одним разом и себе, и в колхоз, в столовую. Или куда там ещё. Это уж я не помню... И вот они шли по озеру и провалились. Простудились сильно. Но напарница-то выдюжила, не расхворалась, а мама слегла. И мы вот — ой-ой. Настрадались как, Господи!.. Мама лежит, а налоги-то вынь да положь. Налоги страшные. Надо скоко-то килограммов масла сдать, надо сто яиц сдать, надо мешок шерсти сдать. Это всё один сельхозналог. Да плюсом живые деньги... И вот приехали из района агенты. Мужики крепкие, мордастые. По домам давай шнапать. Раз приходят к нам — у нас денег нет. Второй раз приехали — денег нет. Третий раз приехали — денег нет. А мама лежит — жёлтая, худая. Кожа да кости. Уже совсем помирает. И над ней, представь, двое здоровяк-мужчин топают ногами. А мы рядом жмёмся, ревём. Шесть душ, и все крохи... И вот

она повела в нашу сторону рукой и заявляет: “Возьмите их всех... как налог...” Те только фыркнули, дверью хлопыстнули. Через два дня приезжают вновь, уже на тарантасе. Заходят прямо в огород, вырывают всю морковь, капусту всю вырывают. Лук, чеснок и что там ещё было. И всё это погружают скопом и увозят. За налог, якобы... А соседка, тётка Мясникова, видит это бесчинство и прямо в лицо им бросает: “Бессовестные вы ахиды, что же это вы творите? Креста на вас нет. Ребят-то голодом пошто хотите заморить? Сироты-то в чём провинны?..” А в Троицком в то время был лесопункт, там и столовка. В эту столовую агенты сдали наши овощи, а выручку пропили. Нам же ни квитанции, ничего... Подходит окончательный срок платить налог. Снова приезжают. Уже другие шныри. И повели у нас со двора корову. Кормилицу нашу. Тётка Мясникова, помню, вновь выбежала и кричит: “Ой, что деется, что деется! Вот кого убивать-то надо. Вот изверги, вот враги!..” Когда увели корову, мы, конечно, страшно голодали. Так все, даже с дальнего конца деревни, несли нам молочка. В крыночках, в черепяных горшочках. В платочек поставят портяной и принесут: “Марфочка, возьми...” А мама только плачет, ничего сказать не может... Лежит и тихо помирает. В общем, совсем худы дела... Единственная ценная вещь осталась у мамы в сундуке — это скатерть. Необыкновенно красивая. Подарок... И вот как-то приходит тётка Мясникова и советует: “Нинка, скатерть-то продайте. Хоть хлеба купите. Может, мать-то у вас с того и поправится...” Послали меня с этой скатертью к соседу через дом, который работал в сельпо на складе. Это не селинский уроженец, пришлый, но в Селино как-то прижился, оженился. И вот я пришла и стою. Он спрашивает: “Чего пришла, девочка?” — “Пётр Трофимыч, мамка умирает, и мы с голоду пухнем. Возьмите скатерть, дайте хлеба...” — “Ну, показывай...” Развернул скатерть, покивал довольно головой. И командует жене: “Дай полтора ярушника...” А ярушнички тоненькие. Целый и половинка. Кило двести, не больше. Но я и этой подачке рада... Принесла я этот хлеб, выложила на стол, все тут же собрались. Смотрелки устроили. Сестра заявляет: “Никто не трогает. Это маме!..” А у всех слюнки, всем хочется хоть крошечку. Как тут утерпишь... И тогда сестра спрятала всё в большую корчагу и убрала подальше. Только маме сразу отрезала половинку тонкого ломтика. И пока мама ела, мы молились. Ну, как молились? Встанем рядком, на восток смотрим и крестимся. Просим Господа Бога, чтобы сохранил нашу маму. И она и вправду потихоньку выправилась...

Мальчик лежал в сенках с закрытыми глазами, сложив руки на груди, и никак не мог заснуть. Но и бабушкин рассказ он почти не слышал — так, отдельные фразы, отдельные слова: голод, скатерть, ломтик, крестимся... Он поскрёб ногтями лоб, который почему-то зачесался, хлопнул по животу, давя проникшего сквозь марлевый занавес одиночного комара, затем потёр правое плечо, саднящее от полуденного загара, притянул край одеяла к левому боку — словно тоже осенил себя крестом-оберегом. Сказал, как скомандовал, чётко и громко: “Надо спать! Надо спать!..” Но ещё долго ворочался, едва улавливая затихающим слухом осторожный старушечий говор на улице.

— А я, Ивановна, всё племянницу забыть не могу. Стоит перед глазами, как живая, — подхватила рассказ подруги Митрониха. — Уж такая была красивая, прямо ангел во плоти. Волосы белые, как ленок, вьющиеся. Глаза открытые, голубые-голубые. У мамы нашей такие были глаза. Бровки чёрные, что шнурочки, сама румянькая. Полиночка! Мы её так все любили... И вот когда недоедали, она всё отекает, отекает. И умерла тихонько. А ей всего пятый годок пошёл... Хоронить некому, женщин всех запрягли на лесоповал. Один старичок под боком, Василий Кузьмич, царство ему небесное. Мы к нему ходили, упросили. Он пришёл, мерочку снял. Гробик скоро сколотил. И мы все: я, сестра, двоюродный брат, мой ровесник, — мы втроём пошли копать могилку. В декабре месяце. Взяли топор, взяли лопаты, взяли печню, заступ такой железный, заострённый... Нашли на кладбище, где родственники похоронены, расчистили свободное место. И стали рубить землю топором. Но силы-то нет рубить, да и замёрзла земля. И печнёй стучаем — не поддаётся. Но всё ж таки сколько-то топором порубим, лопатой погребём. И руками больше, руками... Наверное, с полметра только

и выковыряли в глубину, больше силы не осталось... Потом иная проблема — на чём везти. Лошадей забрали на фронт — быки только. А быки — кто воду возит, кто корм возит. Даже быка нельзя получить... И вот на сапожки этот гробик махонький поставили и поехали хоронить... И как мы плакали — как мы её любили все. Даже теперь у меня... не отходит от меня это чувство любви к ней. Это восхищение — такая была умненькая да красивенькая, голосочек такой нежный... И вот мы её хороним. Опосля палочку случайную на могилку воткнули, поперечину чем-то прихватили. Как крестик...

Последние слова Митрониha произнесла, едва сдерживая всхлипы, комкая в кулаке мятый солоноватый платок.

— Да-а, сколько уже с той поры годков отстукало, а всё помнится, — вздохнула бабушка мальчика. — Горькое время выпало, а памятное, неотступное.

— Далёкие годики, да дорогие, — согласно закивала и Митрониha...

...А новое утро длилось и длилось нескончаемо.

Выгнув спину и помяв серый бок о дверной шершавый косяк, мягко ступил на крыльцо бабушкин кот Васька. Задрал вверх остроухую голову, посмотрел без особого интереса на лежащее на коньке соседней избы солнечное блестящее кольцо и тоже вдруг повалился на доски, подсовывая под почёсывание свой мохнатый живот. Мальчик сначала хотел пихнуть настырного кота в придорожную траву, но потом передумал. Помахал ивовой веточкой перед кошачьим носом, заставляя Ваську впустую махать в воздухе лапой и выпускать коготки, потом помяукал несколько раз, насупив брови, подразнил насторожившегося кота, ожидая кошачьего бегства, но всё было без толку. Деревенский проныра стойко перенёс все мальчишечьи выдумки.

— Ах ты, гад! — сказал мальчик и рассмеялся.

И указательным пальцем ласково коснулся тёплой, чуть подрагивающей шёрстки живота хитрого хвостатого ленивца.

Вытянул кот лапы на солнечных ладошках — сейчас замурлычет.

.....
Поздравляем вятского писателя Виктора Бакина с 60-летием!

Редакция